**Ханна Арендт. О революции**

Войны и революции по сей день определяют облик ХХ столетия. В политической ситуации нашего времени, чреватой угрозой тотального истребления в войне и вместе с тем не дающей угаснуть надежде на эмансипацию человечества путем революции – и поныне нет важного вопроса, с самого начала нашей истории определявшего основное содержание политики: свобода или тирания? Автор основное внимание уделяет анализу американской и французской революций конца XVIII в.

Ханна Арендт. О революции. – М.: Европа, 2011, 464 с.



Купить книгу в [Ozon](http://www.ozon.ru/context/detail/id/7251886/?partner=baguzin) или [Лабиринте](http://www.labirint.ru/books/299486/?p=13320)

### Глава 1. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА

Сомнение, что земная жизнь неизбежно должна быть обречена на лишения, а не, напротив, может быть благословенна изобилием, своим рождением обязано Америке. Оно выросло непосредственно из американского опыта колониальной жизни и как таковое предшествовало революции. С позиции теории, этот путь был расчищен, когда Локк – очевидно, под впечатлением процветания колоний в Новом Свете, – а затем и Адам Смит пришли к выводу, что физический труд и работа не только не являются естественными атрибутами бедности и видами деятельности, на которую бедность обрекает тех, кто лишен собственности, но как раз наоборот, именно они служат источником всякого богатства. В этих условиях восстание бедных, «порабощенной части человечества», действительно могло иметь своей целью нечто большее, нежели собственное освобождение и порабощение остальной части человечества.

Античный цикл вечного возвращения основывался на различии между богатыми и бедными, которое полагали «естественным». Факт существования американского общества до революции разорвал этот круг раз и навсегда. Если верно, что для революций Нового времени наиболее важным являлось радикальное изменение социальных условий, то можно согласиться с тем, что открытие Америки и колонизация нового континента послужили его источником – так, словно «привлекательное равенство», сформировавшееся в Новом Свете естественным образом и органичное ему, в Старом Свете могло быть достигнуто только путем революционного насилия и кровопролития.

Теории о революционности, якобы свойственной христианским вероучениям, не выдерживают проверки фактами. Ибо как объяснить, что ни одна революция не была совершена до Нового времени? Получается, что только Новое время стало той почвой, на которой взошли революционные ростки христианства? Очевидно, что подобный ход рассуждений уводит нас в сторону от ответа. Кстати римская *res publica* – республика; букв.: общая вещь.

Современное понимание революции можно датировать временем двух великих революций конца XVIII века. Что же до главной интриги, то ею, бесспорно, стало рождение свободы. [Кондорсе](http://www.ozon.ru/person/336347/?partner=baguzin) сделал обобщение: «Слово “революционный” не может быть применено к революциям, целью которых не является свобода». Таким образом, главным в современных революциях является соединение идеи свободы с опытом начала чего-то нового.

Свобода как политический феномен появилась одновременно с греческим полисом. Со времен Геродота под полисом понималась такая форма политической организации, в которой отсутствовало господство одних граждан над другими. Понятие отсутствия господства обозначалось словом *исономия*, и его главной особенностью – отличием от других терминов, описывавших известные грекам формы правления, – было отсутствие корня, означавшего «власть» (как то *архия* – предводительствовать, начальствовать – в «монархии» или «олигархии» или *кратия* – быть сильным, иметь власть, править – в «демократии»). Полис ассоциировался с исономией, а не с демократией.

Исономия обеспечивала равенство, но вовсе не потому, что все люди были рождены или сотворены равными, но, напротив, потому, что люди по природе своей не равны, и нуждаются в искусственных институтах, в полисе, который благодаря своим законам, сделал бы их равными друг перед другом. Равенство в понимании греков, исономия, была достоянием самого полиса, а не индивида, и равными становились по праву гражданства, а не по праву своего рождения. Ни равенство, ни свобода не понимались людьми как свойства человеческой природы. Ни первое ни второе не было дано от природы, и не развивалось само по себе. И то и другое являлось условным и искусственным, результатом соглашения, свойством мира, сотворенного человеком.

Смысл геродотовского уподобления свободы отсутствию господства состоял в том, что сам правитель не считался свободным; возлагая на себя бремя управления другими, он тем самым лишал себя общества равных ему, среди которых он мог быть свободным.

Только там, где присутствует пафос новизны и где новизна сочетается с идеей свободы, мы имеем право говорить о революции.

Одна из возможностей установить точную дату возникновения такого исторического явления, как революция – отследить момент, когда впервые появился термин, прочно закрепившийся за данным феноменом. Слово «революция» отсутствует в историографии и политической теории раннего Ренессанса. У Макиавелли классическая схема, согласно которой единоличное правление ведет к демократии, демократия – к олигархии, олигархия – к монархии и в обратном порядке, говорит не о революции, а об изменениях (см. [Макиавелли. Государь](http://baguzin.ru/wp/?p=488)).

Первоначально слово *революция* являлось астрономическим термином, и его роль в естественных науках особенно возросла после *De revolutionibus orbium coelestiam* ([О вращении небесных сфер](http://www.ozon.ru/context/detail/id/4384569/?partner=baguzin), лат. – название главного труда Н. Коперника, 1543). В этом научном употреблении оно сохранило свое точное латинское значение, указывающее на постоянное, подчиненное закону вращательное движение звезд, неподвластное человеку и потому неодолимое, которому очевидно не была свойственна новизна.

То обстоятельство, что слово *революция* первоначально подразумевало реставрацию, тогда как для нас оно имеет прямо противоположное значение, не просто причуда семантики. Революции XVII и XVIII столетий задумывались и планировались именно как реставрации. Французская и американская революции в своей начальной фазе осуществлялись людьми, которые были твердо убеждены, что своими действиями они не создают ничего принципиально иного, а лишь восстанавливают старый порядок вещей, нарушенный и попранный деспотизмом абсолютной монархии или злоупотреблениями колониальных властей. Когда же действующие лица обеих революций убеждались, что реставрация невозможна, они понимали, что необходимо начинать совершенно новое предприятие. Лишь тогда слово «революция» приобретало новое значение.

Революция 1793 года стало тем зрелищем, о котором Верньо, выдающийся оратор Жиронды, сказал, что оно подобно Сатурну, ибо «революция пожирает собственных детей». В те десятилетия, которые последовали за французской революцией, образ могучего подводного потока, сначала возносящего людей на вершину славных дел, а затем низвергающего их в пучину преступления и бесчестья, стал превалирующим.

После французской революции любое кровопролитное выступление стали рассматривать как продолжение движения, начатого в 1789 году. После чего революционный поток уходил на глубину, откуда, собравшись с силами, вновь выплескивался на поверхность в 1830, 1832, 1848, 1851 и в 1871-м. В середине XIX века (Прудоном) был пущен в оборот термин «перманентная революция», а вместе с ним – и идея, что «нет отдельных революций, но только одна и та же беспрерывная революция».

С точки зрения теории наиболее значимым последствием французской революции стало появление новой концепции истории в философии Гегеля. Идея Гегеля о том, что старый философский Абсолют раскрывает себя в сфере человеческой деятельности имела подлинно революционное значение. Но самое важное заключается в том, что все те, кто на протяжении XIX и большей части XX века шел по стопам французской революции, считали себя не только преемниками людей французской революции, но и проводниками истории и исторической целесообразности. Очевидным и при этом парадоксальным результатом этого стало то, что из революционной мысли исчезла идея свободы и место ее главного политического аспекта заняла необходимость (критику этой точки зрения см., например, [Карл Поппер. Нищета историцизма](http://www.ozon.ru/context/detail/id/4659156/?partner=baguzin)).

### Глава 2. СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Когда на авансцену французской революции внезапно вышли искавшие удовлетворения своих повседневных нужд «бедные», заимствованная из астрономии метафора, столь удачно доселе описывавшая все изменения, взлеты и падения человеческой судьбы, утратила свое старое значение и получила биологическую окраску.

Реальность, придававшая старому слову этот современный оттенок, начиная с XVIII века получила название «социальный вопрос», или, как мы ее называем проще и более удачно, – существование бедности. Бедность – это не просто лишения или отсутствие чего-либо, бедность – это состояние острой нужды и крайней нищеты, отвратительных своей дегуманизирующей силой; бедность унизительна, потому что подчиняет человека абсолютному диктату его тела, или абсолютному диктату необходимости. Именно под давлением этой необходимости массы устремились на помощь французской революции, вдохновляя и подталкивая ее вперед – и в конечном счете приведя ее к поражению, ведь массы эти были беднотой. Когда они оказались на политической арене, раскрылась эта необходимость, и в результате власть старого режима потеряла всякую силу, а новая республика оказалась мертворожденной; свобода должна была оказаться подчиненной необходимости, самым необходимым жизненным нуждам.

Робеспьер принес свой «деспотизм свободы», свою диктатуру ради установления свободы, в жертву «правам санкюлотов», то есть праву «одеваться, есть и воспроизводить вид». И именно необходимость, первейшие жизненные потребности народа послужили причиной, по которой был развязан террор, и революция в конечном счете потерпела поражение. Сам Робеспьер вполне отдавал себе отчет в том, что произошло, это понимание случившегося обрело форму пророчества в его последней речи: «Мы погибнем потому, что упустили момент, который был намечен историей, чтобы основать свободу». Не заговор королей и тиранов, но гораздо более могущественный заговор необходимости и бедности не позволил воспользоваться «историческим моментом» и увел революцию в сторону. Революция изменила свое направление: свобода более не являлась ее целью, целью стало счастье народа.

Превращение Прав Человека в права санкюлотов явилось поворотным моментом не только для французской революции, но и для всех последующих революций. В немалой степени этому способствовал величайший теоретик революции Карл Маркс: он в гораздо большей степени был историком, нежели политиком, и потому в своих работах почти полностью пренебрег первоначальным замыслом людей революции – принципами свободы – и сосредоточил основное внимание на «объективном» ходе революционных событий. Иначе говоря, потребовалось более полувека, чтобы трансформация Прав Человека в права санкюлотов, отречение от свободы под гнетом диктата необходимости, обрела своего теоретика.

Преобразование Марксом социального вопроса в политический фактор первого порядка обозначено словом «эксплуатация», то есть мнением, что бедность не является «естественной», но результатом эксплуатации «господствующим классом». Маркс, несомненно, внес свой вклад в дело освобождения бедных; однако его вклад состоит не в том, что он внушил бедным, будто те являются живым воплощением исторической и иной необходимости, а в том, что он убедил их, что бедность есть феномен политический, а не природный, и что она – результат насилия и преступления, а не следствие недостатка средств к существованию. С этого момента задача революции состояла не в том, чтобы освободить человека от угнетения другим человеком или, тем более, основать свободу: ее целью стало освобождение жизни общества от оков нужды, с тем чтобы в конечном счете оно достигло изобилия. Не свобода, а изобилие теперь являлось целью революции.

Трудно придумать нечто менее справедливое, нежели как принять успех американской революции за аксиому и выяснить причины неудачи людей французской революции. Своим успехом американская революция обязана не только мудрости основателей республики – хотя их мудрость была, несомненно, велика. Причиной успеха было отсутствие бедности в Америке.

Оказалось, что жалость как исток добродетели в большей мере способна к жестокости, нежели сама жестокость. «Из жалости, из любви к человечеству, будьте бесчеловечны!» – эти слова, взятые почти наугад из петиции одной из фракций Парижской коммуны Национальному конвенту, не являются случайными; они – подлинный язык жалости. Со времен французской революции именно необузданность сантиментов сделала революционеров столь невосприимчивыми к реальности в целом и к реальности отдельных людей в частности. Революционеры не испытывали угрызений совести, принося людей в жертву своим «принципам» – исторической необходимости или процессу революции как таковой.

Американская революция сохраняла приверженность делу основания свободы и установления прочных институтов, и тем, кто руководствовался ее духом, не позволялось ничего, что выходило бы за рамки гражданского права. Практически с самого начала французская революция отклонилась от курса основания свободы и сосредоточилась на страдании. Ее течение определялось не потребностью освободиться от тирании, а потребностью избавиться от необходимости; его подпитывала безмерность человеческой нищеты и жалость, которую та вызывала. Беззаконие этого «все дозволено» здесь все еще проистекает из сантиментов сердца, неограниченность которых способствует развязыванию безграничного насилия.

Первые тропы через «богом забытую пустыню» континента были проторены и еще сотню лет прокладывались «самыми порочными представителями человеческого общества». Тем не менее основатели Америки никогда не считали, что эти люди и те, кто населяет обжитые регионы, составляют единый организм. Для них слово «народ» обозначало множество – нескончаемые различия, главным достоинством которых была их множественность. Вот почему люди американской революции с подозрением относились к так называемому общественному мнению, которое столь легко перерастало во всеобщее единодушие – в этом вопросе между ними не было разногласий; они знали, что в республике публичное пространство формируется за счет обмена мнениями между равными, и это пространство просто исчезнет, если у всех граждан вдруг обнаружится одинаковое мнение, а, следовательно, прекратится обмен мнениями между ними. Люди американской революции не апеллировали к общественному мнению, так как считали власть общественного мнения формой тирании.

Нищета несет с собой политическую опасность: она уничтожает множественность. Робеспьер однажды сравнил нацию с океаном; на самом деле нация представляла собой океан нищеты, породивший океан чувств, и, соединившись, они погребли под собой само основание свободы. Люди американской революции словно оказались на острове, где не было ни страданий, способных возбудить их чувства, ни нужд, которые вынудили бы их уступить необходимости, ни жалости, которая смогла бы повергнуть в смятение их разум. Вот почему можно сказать, что от начала и до конца – от Декларации независимости до принятия Конституции – они были хозяевами своих поступков.

Еще ни одна революция не смогла решить «социальный вопрос» и освободить человека от бремени его потребностей. Опыт прошлых революций неопровержимо свидетельствует о том, что любая попытка решить социальный вопрос политическими средствами оканчивается террором. Сегодня мы можем уверенно сказать, что нет ничего столь старомодного, как попытка избавить человечество от нищеты политическими средствами, и трудно найти что-либо более бесперспективное и более опасное.

### Глава 3. СТРЕМЛЕНИЕ К СЧАСТЬЮ

Необходимость, насилие и их взаимоотношения стали отличительной чертой успешных революций XX века. Однако, свободу, увы, лучше сохранили в тех странах, где революции удалось избежать, и гражданские свободы больше распространены там, где революции потерпели поражение, а не там, где они одержали победу.

Революция была невозможной, как правило, в тех государствах, где авторитет политической системы поддерживался на должном уровне (в современных условиях это прежде всего подразумевает верность вооруженных сил и полиции гражданским властям). Причина, по которой революции с поразительной легкостью добивались успеха на начальной стадии, проста: вершащие ее люди просто первыми подбирали власть, фактически валявшуюся у них под ногами; революция – это всегда следствие и никогда – причина краха политического режима.

### Глава 4. ОСНОВАНИЕ ПЕРВОЕ: CONSTITUTIO LIBERTATIS (основание свободы)

Целью восстания выступает освобождение, тогда как цель революции – это основание свободы. В соответствии с этим подходом, Конституция Соединенных Штатов – истинная кульминация всего революционного процесса. Нет ничего более бессмысленного, чем восстание и освобождение, не сопровождающиеся конституцией заново завоеванной свободы. Ибо «ни мораль, ни богатство, ни дисциплина армии, ни все это вместе не могут обойтись без конституции» (Джон Адамс).

Идея конституционного правления означает ограниченное законом, и защиту гражданских прав посредством конституционных гарантий, как те определялись различными биллями о правах, инкорпорированными в новые конституции, и зачастую рассматриваемыми как их наиболее важная часть. Билль о правах, как заметил Джефферсон, был тем, «на что полномочен народ против любого правительства, будь оно центральным или местным, и что ни одно правовое государство не должно отрицать или оставлять без внимания». В действительности Билль представляет собой «не власть как таковую, но лишь гарантию от злоупотреблений властью»; в нем еще не содержится никаких притязаний на участие в делах государства, но только право на защиту от него.

Томас Пейн суммировал и осмыслил то, чему его научил процесс написания и принятия американской конституции: «Конституция не есть акт правительства, но народа, конституирующего правительство». Отсюда во Франции и в Америке проистекает потребность в учредительных собраниях и специальных конвентах, единственной задачей которых является подготовить проект конституции; отсюда возникает необходимость вернуться с этим проектом домой, к народу, и обсудить статью за статьей, на городских собраниях, как позднее статьи Конституции – на конгрессах штатов. «Народ должен наделить правительство конституцией, а не наоборот».

Достаточно беглого взгляда на судьбу конституционных режимов вне пределов англо-американских стран и сферы их влияния, чтобы ощутить огромную разницу между конституцией, навязанной народу правительством, и конституцией, посредством которой народ конституирует свою собственную форму правления. Четырнадцать конституций Франции между 1789 и 1875 годами привели к тому, что само слово «конституция» стало звучать как издевательство.

Если и было что-то общее между создателями конституций XIX и XX веков и их американскими предшественниками в XVIII столетии, то это было недоверие к власти как таковой. Человек по самой своей природе «не подходит для того, чтобы доверять ему неограниченную власть», те, кто наделен властью, легко могут обернуться «зверьми, алчущими добычи». Это недоверие к власти составляет подоплеку Билля о правах наряду с общим убеждением в абсолютной необходимости правового государства в смысле ограниченного законами правления. Наряду с опасениями основателей насчет чрезмерной власти правительства существовала также глубокая озабоченность относительно опасностей для прав и свобод граждан, которые могут исходить не столько со стороны государства, сколько со стороны общества. В первую очередь необходимо оградить «права отдельных лиц или меньшинства ... от направляемых интересами комбинаций большинства».

Ни один вопрос не занимал большего места в дебатах, нежели вопрос разделения или баланса властей. В основе структуры разделенных властей лежит принцип, что *только власть сдерживает власть*. Разделение власти делает государство более сильным, нежели ее централизация.

Диктатура – режим, как нельзя лучше соответствующий сути национального государства. Наполеон Бонапарт был всего лишь первым в длинном ряду национальных диктаторов.

Сегодня нам трудно оценить, насколько существенным было смещение акцента с республиканской формы правления на демократическую, поскольку мы обычно не отличаем господство большинства от решения большинства. В Америке Конституция разрабатывалась в сознательном намерении предотвратить процедуры принятия решений, с их принципом большинства, от вырождения и деградации.

### Глава 6. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТРАДИЦИЯ И ЕЕ ПОТЕРЯННОЕ НАСЛЕДСТВО

Общеизвестны возражения «отцов-основателей» против демократии как формы правления; аргументация сводилась к тому, что античная история и теория доказали «беспокойную» природу демократии, ее нестабильность – жизнь демократии «была в общем столь же недолговечной, сколь насильственной ее смерть».

Слово «демократия» в XVIII веке еще означало форму правления, а не идеологию и показатель предпочтения низших классов; и отвергалась она лишь потому, что считалось, будто при демократии управляет общественное мнение, хотя должен – публичный дух. Важным представляется намек на радикальную несовместимость власти единодушного «общественного мнения» и свободы мнения, поскольку истина заключается в том, что не существует возможности формирования мнения там, где все мнения сделались одинаковыми. Господство общественного мнения угрожает мнению тех немногих, кто осмелится не разделять его. В этом – одна из причин бесплодности оппозиции при тирании, одобряемой народом. В этом кроется причина того, почему «отцы-основатели» были склонны ставить власть, основанную на общественном мнении, на одну доску с тиранией; демократия в этом смысле была для них не чем иным, как переряженным в новые одежды деспотизмом. Следовательно, их отвращение к демократии продиктовано их опасением перед фундаментальной нестабильностью системы правления, лишенной духа публичности и отданной во власть единодушным «страстям».

В теоретическом плане в двух завоеваниях революции – прочном институте для выражения мнения (сенат) и прочном институте для суждения (верховный суд) – «отцы-основатели» оставили далеко позади собственные дореволюционные идеи.

Джефферсон выступал против тех, кто «взирает на конституции с ханжеским почтением, представляя их чем-то наподобие ковчега завета, чересчур святого, чтобы к нему прикасались». Он негодовал по поводу несправедливого заключения, что только его поколение должно иметь возможность «начинать мир снова». Для него, как и для Пейна, было очевидным «тщеславие и самомнение желания править из могилы», что являлось бы «самой возмутительной и вызывающей изо всех тираний». Джефферсон говорил: «Мы еще не настолько усовершенствовали наши конституции, чтобы осмелиться сделать их неизменными».

Излюбленной политической идеей Джефферсона было стремление «разбить округа на районы». Если бы план «элементарных республик» Джефферсона оказался воплощен в жизнь, мы имели бы нечто гораздо большее, чем слабые ростки будущей государственной формы, различимые в секциях Парижской коммуны и народных обществах периода Французской революции. Существенно, однако, что, хотя политическое воображение Джефферсона и превзошло их по глубине и масштабу, его мысли, тем не менее, развивались в сходном направлении. И план Джефферсона, и французские революционные общества с почти сверхъестественной точностью предвосхитили те Советы, которым назначено было являться на авансцену истории на протяжении XIX и XX веков в ходе практически каждой революции.

Система районов подразумевала укрепление власти каждого в пределах его компетенции; и только разбив «многих» на ассамблеи, где каждый мог быть посчитан, «учтен» и знал бы в лицо других, «мы стали бы в такой мере республиканцами, в какой это возможно для большого общества». С позиции безопасности граждан вопрос состоял в том, как сделать, чтобы каждый почувствовал себя «участником в управлении и ведении публичных дел не только в день выборов раз в году, но каждый день; когда в штате не останется более человека, который не был бы членом какого-либо из его советов.

Регулярное возникновение в ходе революции новой формы правления, до удивления напоминает, с одной стороны, систему районов Джефферсона, с другой – революционные общества и муниципальные советы, распространившиеся по всей Франции после 1789 года. Мы имеем дело с феноменом, который произвел неизгладимое впечатление на двух величайших революционеров эпохи – Маркса и Ленина, оказавшихся свидетелями их спонтанного возникновения. Один – во времена Парижской коммуны 1871 года, второй – в 1905 году, во время первой Русской революции. Это противоречило всем теориям Маркса и Ленина и, что даже более важно, находилось в вопиющем несоответствии с их теоретическими предпосылками относительно природы власти и насилия. Они воспринимали революцию как способ захвата власти, а саму власть отождествляли с монополией на средства насилия. В действительности, однако, случилось так, что старый режим стремительно дезинтегрировался, утратив свой авторитет, а вместе с ним – и контроль над средствами насилия, армией и полицией; одновременно с этим произошло достойное удивления формирование новой властной структуры, обязанной своим существованием ничему иному, как организационным усилиям самого народа.

В 1905 году Ленин с неподдельной искренностью превозносил «революционное творчество народа», который в разгар революции начал устанавливать совершенно новую властную структуру65, подобно тому, как двенадцатью годами позднее он смог начать и выиграть Октябрьскую революцию с лозунгом «Вся власть советам!». Однако, когда, наконец, во время Кронштадтского восстания советы выступили против партийной диктатуры и открылась несовместимость новых советов и партийной системы, он практически незамедлительно решил подавить советы, поскольку те угрожали монополии большевистской партии на власть. С тех пор название «Советский Союз» применительно к послереволюционной России сделалось очевидной ложью, которая при этом включала в себя признание чрезвычайной популярности, правда, не большевистской партии, но советской системы, выхолощенной этой партией. Поведение большевиков от начала и до конца было продиктовано соображениями партийной борьбы, которая не играла никакой роли в советах, но которая действительно имела первостепенное значение во всех дореволюционных парламентах.

Неспособность революционной традиции предложить сколько-нибудь серьезное осмысление единственной новой формы управления, порожденной революцией, может быть объяснена одержимостью Маркса социальным вопросом и его полным пренебрежением вопросами государства и формы правления.

Роль, которую профессиональные революционеры играли во всех современных революциях, достаточно велика и значительна, однако она не заключается в подготовке революций. Профессиональные революционеры наблюдали и анализировали прогрессирующую дезинтеграцию государства и общества; вместе с тем они едва ли много сделали или даже были в состоянии сделать, чтобы приблизить или направить этот процесс. Даже волна стачек, распространившаяся по всей России и приведшая к первой революции, была совершенно спонтанной и возникла безо всякого содействия со стороны какой-либо политической или профсоюзной организации, которые, напротив, сами появились только в ходе революции69. Начало революций заставало врасплох революционные группы и партии так же, как и всех остальных. И едва ли найдется хотя бы одна революция, которую можно было бы отнести на их счет. Обычно все складывалось противоположным образом: разражалась революция и освобождала профессиональных революционеров от тех местонахождений, где им случилось в тот момент быть – тюрем, кафе или библиотек. Даже ленинская партия профессиональных революционеров не была в состоянии «совершить» революцию; максимум, на что они оказались способны, это находиться поблизости или, улучив момент, поспешить домой.

Роль профессиональных революционеров состояла не в совершении революции, но в приходе к власти после того, как революция произошла. Их огромное преимущество в этой борьбе за валявшуюся на улице власть состояло не столько в идеологии и теориях, не в тактической или организационной подготовке, сколько в том простом факте, что их имена оказались единственно известными публично.

Насколько несущественным было значение профессиональных революционеров для того, чтобы революция началась, настолько было велико их влияние на ее ход. И поскольку годы своего ученичества они провели в школе революций прошлого, это свое влияние они неизбежно употребляли не в пользу нового и неожиданного, но на благо действия, остающегося в согласии с прошлым.

Там, где революция не завершалась поражением, в конечном счете одерживала верх однопартийная диктатура, однако она устанавливалась только после борьбы (более кровавой, чем против «контрреволюции») с органами и институтами самой революции. К тому же советы всегда были органами порядка в той же мере, в которой были и органами действия, и именно стремление установить новый порядок привело их к конфликту с группами профессиональных революционеров, стремившихся низвести их до уровня простых исполнительных органов. Вполне естественно, что члены советов желали прямого участия каждого гражданина в публичных делах страны80, и пока они существовали, не было сомнения, что «каждый человек найдет сферу приложения своим силам и получит возможность своими собственными глазами видеть собственный вклад в события».

Наиболее примечательные черты советов состояли в том, что для них не только не существовало «видимых» границ между партиями, так что члены различных партий заседали в них вместе, да и сама партийная принадлежность вообще не играла в них никакой роли.

Февральская революция 1917 года в России и Венгерская революция 1956 года длились достаточно долго, чтобы в общих чертах продемонстрировать, как выглядело бы новое правление и как примерно функционировала бы республика, основанная на системе советов. В обоих случаях советы распространились повсеместно, совершенно независимо друг от друга. Образование совета в разных не похожих друг на друга группах превращало более или менее случайное соседство в политический институт. Самый же поразительный момент этих спонтанных процессов заключается в том, что в обоих случаях этим независимым и чрезвычайно разнородным органам понадобилось всего несколько недель (в случае России) или несколько дней (в случае Венгрии), чтобы начать процесс координации и интеграции посредством формирования высших советов регионального или провинциального характера, из которых в конечном счете могут быть избраны делегаты в ассамблею, представляющие всю страну.

Если классифицировать современные режимы в соответствии с заложенным в их основу принципом власти, то окажется, что однопартийные диктатуры и многопартийные системы имеют гораздо больше общего друг с другом, нежели с двухпартийной системой. В плане устройства системы правления только двухпартийная система доказала свою жизнеспособность и одновременно свою способность гарантировать конституционные свободы. Но даже при такой системе самое большее, на что могут надеяться граждане, это на то, чтобы быть «представленными», из чего ясно, что единственное, что может быть представлено и делегировано – это только интерес и забота о благосостоянии избирателей, но никак не их способность к действию и мнению.

Единственный публичный орган, в котором как в Америке, так и в Англии каким-то образом представлено мнение – это пресса, которую по праву сегодня зачастую рассматривают как четвертую власть наряду с исполнительной, законодательной и судебной.

Как бы то ни было, ни у народа, ни у ученых-политологов не осталось сомнений по поводу того, что партии в силу обладания монополией на выдвижение кандидатов не могут рассматриваться как органы народного управления, но что они, как раз напротив, представляют весьма эффективные инструменты, посредством которых власть народа усекается и контролируется. Что система представительства на деле превратилась в разновидность олигархии (хотя и не в классическом смысле слова «олигархия» как господства меньшинства), видно невооруженным глазом; то, что мы сегодня именуем демократией, в реальности представляет собой олигархию, в которой меньшинство правит в интересах большинства. Это правление является демократическим в том отношении, что его основными целями являются народное благосостояние и частное счастье; однако оно может быть названо олигархическим в том смысле, что всеобщее счастье и публичная свобода вновь становятся привилегией немногих.